

ОТСТОЯТЬ САМОГО СЕБЯ

Социалистический порядок вещей, в котором прошла сознательная жизнь Бориса Викторовича Шергина, поставил перед гражданами нового государства в лице народных масс условие: принять новый порядок вещей, начиная с материалистического понятия о действительности, принять интернационализм условием мировоззрения. Это означало: отказаться от религии как предрассудков и суеверия, отказаться от национальной культуры, отказаться от частнособственнических интересов по причине их мелкобуржуазности, отказаться от самого себя во имя интересов коллектива, а принять мир без Бога, без права на национальные традиции в культуре и в общественном обиходе.

По сути дела это означало одно: человек советский должен отказаться от своего прошлого. По отношению к тем, кто не отказался, а предпочел сопротивление, вступал в действие принцип политической целесообразности, по которому тот, кто выбрал сопротивление, подозревался в неблагонадежности, а потому подлежал принудительному перевоспитанию. Дело перевоспитания народа вменялось не только мероприятиям Культурной революции, но и лагерям. Началась Культурная революция в 1918 году, прежде всего благим делом — ликвидацией безграмотности, а продолжалась все последующие годы борьбой с религией, школьным и университетским образованием в духе материализма и классовой борьбы как условием общественной жизни, и окончилась Культурная революция с крушением социалистического государственного порядка. Но еще в середине 80-х неутомимые борцы с религией рапортовали о своей победе над суевериями и предрассудками, говорили о религии как о явлении остаточном: с последними стариками исчезнет и это остаточное явление.

И вот можно сказать, что вся сознательная и творческая жизнь Шергина прошла под знаком сопротивления этой культурной революции. Его художественные и литературные дарования, определившие его профессию, по природе своей были глубоко народны и, скажем так, в православном изводе, а потому предполагали интимное, сугубо личное выражение, и не зывали его, молодого наблюдательного человека, к деятельности политического характера. Да и голос его был к иному слову рожден и получил к тому времени уже и воспитание, и опыт: к душевной народной песне, к сказанию былины и сказки близким по душевному складу людям, которых не нужно было ни убеждать, ни внушать новые представления о мире, ни всевать плевелы классового мировоззрения, а только поддерживать природным русским словом их природную присущность русской речи и духовную надежду. Только такое тихое слово и мог сказать молодой Шергин. Да еще посмешить, повеселить свою публику, гораздую и на свои пословицы и поговорки, добавить к ним поморские слова с прискоком, анекдоты, подобные сказкам о Шише. Никакого другого ремесла он не мог и не хотел осваивать.

Но как выражалось это его духовное сопротивление духу и условиям времени, в котором он жил? Если мы внимательно присмотримся к его первым печатным и публичным опытам, к той же его первой тонкой книжечке «У Архангельского города, у корабельного пристанища», то увидим там упрямое, непреклонное и при том сознательное выражение защиты национальных традиций, которые должны быть положены в саму методику воспитания детей вопреки интернациональному и атеистическому духу советского народного образования.

Таким приверженцем смыслов народного словотворчества Шергин оставался и во всех своих последующих, но довольно редких книгах и публикациях в журналах. Некоторые из этих публикаций, такие, например, как «Золоченые лбы» или выпавшая даже из современных сборников сказка «Куроптев», которая в публикации журнала «Октябрь» называлась «Сказкой о красноармейце Куроптеве», могли бы вызвать весьма недоброжелательное сомнение современной критики. Но, должно быть, за народной формой иносказаний и шутливой интонацией не было замечено их злободневных смыслов. И слава Богу.

Таким несговорчивым оставался Борис Викторович в своих книгах и публикациях. Они были редки, материального обеспечения не приносили, но все-таки достоинства его природного русского слова видели и понимали некоторые его литературные современники, бывшие, правда, и сами на вторых и третьих ролях в литературном советском производстве. Редкие публикации и жанровая незначительность произведений — сказка, народная притча, бытовая новелла — до поры до времени отводили критический взгляд от смыслов и существа его произведений, пока наконец эти произведения не вышли в 47 году отдельной книгой — «Поморщина-корабельщина». Тут внимательный критик и заметил все несоответствие Шергина духу советского времени: и патриархальный язык в виде областного наречия, и неуместную интонацию — религиозную, и даже старообрядческую философию. Случись такое десятью годами раньше, не миновать бы Шергину перевоспитания в каком-нибудь суровом учреждении. Но в первые послевоенные годы к религии, тем более в выражении неявном, уже не было прежней строгости. И гроза, разразившаяся над его головой, миновала. Прошло десять лет, когда представилась возможность опубликовать свои произведения. Что в них увидела критика уже 50-х, 60-х годов? — присущность традициям народного словотворчества, знание поморского быта...

Казалось бы, что же еще можно и ждать от народного сказителя, кроме знания поморского быта и традиций местной культуры? — именно таким патриархальным краеведом и воспринимался Шергин советской критикой еще и в 70-е годы. Должно быть, за два-три поколения мы, советские люди, усвоили новую мораль, по которой сын за отца не отвечает, как и отец за сына, что все, что было до 17 года, в том числе и религия, это прошло безвозвратно. И мы, советские, как бы забыли об уважении отцов, не видели в родительском житейском опыте не то что какой-то мудрости, но и утилитарной пользы для себя. Мы, молодые и креативные, почитали, да и сейчас почитаем, не отцов и стариков, а по большей части только своих начальников. И это почитание стало уже культом. А в том, что Шергин низко кланяется памяти своего отца, чтит все морское поморское сословье, его бытовую культуру, в этом мы и видели его патриархальность.

Но вот открылись его записки, которые он не без иронии однажды назвал диариусом, что означало именно дневники. В другом случае он определил жанр своих записок как письма к кому-то. Во всяком случае для него, как человека, занятого литературной работой, будущая судьба записок не была вовсе безразлична, хотя реальное положение дел вынуждало предполагать, что если его бумаги куда-нибудь и пригодятся, то разве что на растопку какой-нибудь хозяйке.

Однако важно сейчас другое: именно здесь, в этих записях, в этом его дневнике открылась вполне его личность, открылась вся глубина и природа его духовного сопротивления своему веку, воплощенного в государственном порядке вещей, в воинствующем атеизме, который уже праздновал свою окончательную победу, в интернациональном духе культуры, которому чужда была всякая ясно выраженная национальная природа.

Теперь можно видеть, что это означало на протяжении многих лет его повседневной жизни упрямое, упорное желание вопреки всему — остаться самим собой. Далеко не всем удавалось это. По скупым признаниям некоторых советских писателей, таких знаменитых, как Пришвин или Леонов, хорошо видно, как это было трудно, особенно в тридцатые годы. И за всех как будто прямо сказал Варлам Шаламов:

Легче в угольном забое,
Легче кем-нибудь,
Только не самим собою
Прошагать свой путь...

По запискам Бориса Викторовича Шергина предвоенных, военных и первых послевоенных лет можно видеть, что вся его духовная земная жизнь прошла под знаком сопротивления тем силам социалистического порядка, которые ополчились на отцовские, как он говорит, заветы. Это нашествие воинственного атеизма и принудительной социализации понималось политическими властями как свое благодеяние ради лучшего будущего народа, ставшего советским, и оправдывалось официальной идеологией.

И действительно: это благодеяние, иногда в формах грубых и репрессивных, потребовало столько жертв и от простого народа, и от самих властей, так что, возможно, эти неоправданные жертвы и подорвали романтические надежды на строительство лучшего будущего для народа, как некий дар от коммунистических властей.

По тому же опыту поморского исторического бытия можно видеть, что свое лучшее будущее может построить для себя только сам народ, при том, если административные власти не будут хотя бы мешать этому жизнестроительству, не направлять его по путям, которые предполагают особые преференции только братьям по правящему политическому классу.

Та же культурная революция, объявленная как процесс духовного преобразования общества именно таким, каким это преобразование определила советская власть для народа, и началась культурная революция в 1918 году и закончилась с крушением социалистического порядка. И то, что этот порядок разрушился по причинам внутренним, может говорить о том, что культурная революция не добилась своих целей, а духовное сопротивление задачам этой революции со стороны народных масс оказалось и естественным, и оправданным. К сожалению, этот высший счет, или Божий суд, всегда бывает задним числом. Приходится уповать на то, что отрицательный опыт может быть полезен для будущего. Будем на это надеяться. Как надеялся и Борис Викторович Шергин в своей памяти об отцовских заветах. И вот эта неуклонная память и была его сопротивлением. Оно не имело политического свойства, оно было духовно-культурным внутренним состоянием его. Отчасти оно и проявлялось в литературном творчестве.

Не будем сетовать на то, что время, в котором прошла земная жизнь Бориса Викторовича, было так пренебрежительно к этому творчеству вообще и к личности народного сказителя Шергина в частности. Оно пренебрежительно было вообще ко всякой личности, которая пыталась заявить о себе, поскольку идеологическим приоритетом был коллектив. Не то чтобы прежде люди не знали силы и важности коллективного труда: ватаги, артели, бригады всегда были формой организации для той или иной трудной работы. Но советский коллектив стал неким общественным культом, стержнем коммунального сознания, перед которым личность утрачивала всякие самостоятельные смыслы, и даже гражданские права. И вот сколько длилась культурная революция в активной фазе, столько же длилось и сопротивление Шергина. Только к началу 60-х этот идеологический натиск ослабел, и тут оказалось, что этот старый больной человек, числившийся в Союзе писателей по секции фольклора, вышел из этой многолетней борьбы за право отцовских заветов быть в нашей жизни в своих подлинных смыслах и выражениях безусловным победителем. Именно так — как духовную победу сына, не предавшего памяти отцов поморских, можно, пусть и задним числом, считать появление книги «Океан-море русское» в 1959 году.

О том же, как самому Борису Викторовичу далась эта победа, могут свидетельствовать его записки, которые мы теперь называем Дневником. Поскольку о содержании Дневника, а оно в выражении духовного сопротивления безбожному веку сему, много и подробно уже сказано, мне бы хотелось добавить здесь несколько слов по поводу особенностей литературной формы Дневника Шергина.

Мы привыкли к утверждению, что дневники — это литературно-бытовой жанр. Однако никакого быта и перипетий бытового житейского порядка мы не видим в Дневниках Шергина. Единственный признак жанра дневника — это повествование от первого лица. Первое лицо предполагает предельную искренность и правдивость в изложении только своих личных житейских повседневных переживаний.

К достоинству дневников литературных людей, например, Толстого или Пришвина, безусловно относится и полная откровенность высказывания о переживаемом событии, которое случается произвольно, то есть не обусловлено художественной необходимостью, как это бывает при сочинении романа или повести. Событие в дневнике обусловлено только текущим бытом, что придает событию впечатление подлинности и достоверной присутности именно данной частной жизни. Событие как приходит, так и уходит. По сути дела подобные дневники и пишутся для себя, потому что личный быт не имеет отношения к жизни общественной. Хотя у литературных людей, тем более таких значительных, как Толстой, писание дневников предполагает, что это все будет опубликовано, и потому уже при этом не предполагается полной искренности и произвольности. Пришвин прямо говорит, что писание дневника для него — это основная литературная работа. То есть все чувства, мысли и переживания, вызванные событием, оказываются уже отредактированы в предположении будущей публикации. В этом и состоит литературная работа — как работа общественная. Всех эти жанровых признаков дневника как литературного — и привычного нам — жанра у записок Шергина нет. Шергине не работает над своим диариусом как писатель, он пишет — как Бог на душу положит именно сейчас, сегодня. Конечно, многое важное

он и обдумывает, вынашивает, как он говорит, пока мысль не определится, не высветлится, не примет форму метафоры, и именно сегодня запишется в тетрадку. Тем не менее впечатление, что высказывается текущее подлинное чувство, остается предельным по достоверности и правдивости. В этом и выражается несомненный художественный талант Шергина.

Помимо того, Дневник — это записи его многолетнего сознательного духовного сопротивления социалистической культурной революции. В этом, может быть, и состоит первое отличие Дневника Шергина как литературного жанра: здесь нет быта как такового в его правдоподобии, нет бытовых переживаний в их повседневном виде, нет событий житейского порядка, которые ограничивались бы личным переживаниями по этому поводу. А потому нет и сюжета, в основании которого всегда лежит бытовая коллизия с завязкой и развязкой. Сюжет — это своего рода дорога от завязки к развязке, дорога из пункта А в пункт Б. По такой дороге читателю интересно прогуляться из любопытства. Сюжет в литературном произведении всегда искусственен, это плод личного воображения, выдумки, фантазии. Потому сейчас так популярна литература сюжетная: детективы, всякие фэнтэзи. В том числе и на темы исторические. Сюжет заранее не предполагает подлинности, непосредственности, правды действительной жизни во всей ее полноте. Зато сюжет — это всегда интересно, занятно, любопытно. В том числе особенно любопытно и в отношении бытовой жизни какого-нибудь знаменитого человека. И тут дневники, воспоминания, мемуары артиста или знаменитого художника занимают первую строчку: это всегда и всем интересно, любопытно. На этой человеческой слабости — любопытстве к чужой жизни — и держится сюжет.

Но есть другое условие внимания читателя к тексту — возникающая с первых страниц сопричастность к подлинности, к глубине смыслов этой подлинности, к искренности, с которой выражается — и насколько убедительно — подлинное состояние живой души, естественно присущей этой глубине смыслов. Если эта присущность есть, а если есть, то она проявляется сразу, с первых слов, невидимо берет в плен наши чувства и мысли. Но такой бессюжетный текст взывает не к любопытству читателя, а к усилению чувств или мысли. И тогда наша сопричастность состоит в том, что и наши мысли, и чувства начинают медленно постигать эту тайну глубины искреннего переживания о мире окружающей действительности, которое и открывается в слове. Чтение такого бессюжетного внешне текста — это уже не дорога из пункта А в пункт Б, это уже некий путь, к которому ты оказываешься причастен пробужденным в тебе чувством сопричастности, которую спровоцировал в тебе этот текст. Ты, читатель, уже как бы проходишь этот путь вместе с автором. Потом он оставляет тебя, а ты идешь дальше, но уже и не один, а как бы и он с тобой продолжает идти с желанием помочь тебе преодолеть и тебе свой путь, как и он преодолел.

Дневники Бориса Викторовича Шергина представляются мне именно такого рода литературно-художественным бессюжетным, но цельным произведением. И это, на мой взгляд, редкий случай в нашей литературе. Отчасти он может быть сравним с некоторыми произведениями житейной литературы. Особенно одним из них, написанным от первого лица — это Житие протопопа Аввакума.

Дневники Шергина — это такой же монолог, как и у протопопа, и Шергин, как и протопоп, часто вступает в яростный спор со своим безбожным веком.

Он не сомневается в своей правоте, как и протопоп, потому, во-первых, что знает, что говорит не от своего имени, а от имени таких же простых людей, как и он сам. А во-вторых, и это, может быть, самое главное, от имени традиций христианского бытия поморского народа.

В случае же Дневников Бориса Викторовича Шергина — это преимущественно житие духовное, сопровождается при этом умственной работой, в которой укрепляется духовное состояние. Все зады твержу, говорит он, чтобы вперед-то лучше ногу поставить. Или так сказать: утверждение себя самого, своего сознания, на которое постоянно покушаются соблазны и испытания, утверждение в неуклонном стоянии на духовной православной традиции, на вере своих поморских предков. Эта духовная и умственная работа Шергина и была его личным путем, сопряченным пути народной жизни.

Путь, которым идет православный народ, и долог, и велик, и с нами, живущими сегодня, он не кончится. Но возникает в таком случае и вопрос к самому себе: а что на этом пути твоя коротенькая жизнь? Она поперек общего пути легла по причине твоих похотений легкой и красивой жизни, или осознанно и твердо — в согласии с путем народной жизни? Этот вопрос задавал себе и Борис Викторович Шергин и ответил так: «Я тем душу питаю и силы беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносят мужественно и великодушно, так должен и я».

В нашей воле принять пример его христианской жизни и идти дальше путь свой уже храня этот пример, или не заметить за хлопотами о хлебе насущном и идти дальше, как получится, как придется...

Монолог, который ведет Шергин в своем диариусе, не спонтанный, не внезапный порыв чувства, хотя иногда это чувство и прорывается во всей своей непосредственности непечатных слов. Пусть поставленное число и день, как и сам повод к записи, нас не обманывают: в этом монологе нет ничего случайного, мелочного и оправдательного. У Шергина особое отношение к слову, тем более к написанному на бумаге. Однажды он признается, что прежде чем записать, он как бы вынашивает в себе это состояние или мысль, редактирует про себя, высветляет до лаконизма метафоры, а уж потом записывает. Подробности бытового характера или своих хождений по важнецким учреждениям с просьбами представляются ему даже недостойными того, чтобы их излагать. Другое дело — свое душевное состояние в некоем обобщенном виде, которое имеет прямое отношение к самой атмосфере общественной жизни своего времени.

Почему, например, мы не встретим в его записях ни одного значительного литературного имени? Мы так и не найдем даже имени литературного начальника, который в юности (в Архангельске) клялся ему в вечной дружбе, поскольку прятался одно время в доме Шергиных, а надясь, пишет Борис Викторович, подал два пальца. Мало того, он не записал и тех горьких слов, которые сказал ему при этом друг юности по поводу сырого полуподвала, в котором жил Борис Викторович. И только из сокровенного признания Владимиру Викторовичу Сякину Шергин и поведал тихим голосом, чтобы никто посторонний не услышал, что сказал ему этот друг юности. А сказал он так:

«Настоящая-де литература только там и пишется — в подвалах». Так что, дескать, живи там и дальше. И таким образом утешив, на деле ничем не помог Шергину. И вот мы так и не узнаем от Шергина этого замечательного имени друга юности, ставшего большим литературным начальником. А если так, то и я — по примеру Бориса Викторовича — не назову этого имени.

В чем состоит пример духовной работы Шергина? Ответ, мне думается, очевиден: в подлинно христианском его мирознании и в согласном с ним житейском поведении. В этом поведении мы видим много именно поморского. Но это значит, что и оно не само по себе, не как некая привычка, а как следствие постоянной работы сознания и памяти. Именно так — в бытовом, житейском поведении это его сознание и выразилось. То есть не только на словах записок, составивших Дневник за много лет, но и на повседневных делах и заботах, а более всего — на отношениях с братом Анатолием Викторовичем Кругом. Братом, как называет Шергин, богоданным.

Это не просто отношения братские, как, например, отношения Шергина с сестрой Ларисой Викторовной: она часто навещала его, помогала и деньгами, а когда Борис Викторович уже не мог читать, читала ему и какие-то книги, и что-то в журналах или газетах. Об этом она сама мне призналась на поминках в день похорон, когда приехали с кладбища в квартиру на Рождественском. Но сейчас я бы хотел сказать несколько слов об отношениях с Анатолием Викторовичем.

Эти многолетние взаимоотношения, отягощенные, можно сказать, совместным бытом, не стали отдельной темой Дневника, они проходят в записях необязательным вторым, третьим планом. Но и по кратким замечаниям можно судить, что это духовное братство, братство по вере православной, было сильнее всякого братства по крови.

Мне думается, что Анатолий Викторович Круг, этот богоданный брат Шергина, заслуживает нашего особого уважения. Он взял на себя все хлопоты по дому: и многочасовые стояния в очередях за продуктами по карточкам в любую погоду, и хождение по базарам в поисках картошки подешевле, и хождение по литературным учреждениям от имени Шергина с прошениями на всякие талоны и пособия. Он ходит с хромым и слабым братом Борисом, которого даже на ветру шатает, на церковные службы, оберегая его в толпе, — и все ради того, чтобы брат Борис был здоров и как можно меньше отвлекался от своих литературных занятий. Это самопожертвование, безропотное, как можно понять, потому что Анатолий Викторович молча сносит даже все капризы брата Бориса, не перечит ему даже тогда, когда брат Борис в порыве отчаяния на беспросветную нужду и от огорчений на бесконечные житейские беды вдруг сорвется в слепую ярость и едва ли не в богохульство... Должно быть, он хорошо знает, что через минуту брат остынет, придет в чувство, покается, извинится...

Это те самые взаимоотношения, которые и делают людей братьями и сестрами во Христе. Это и есть любовь, о какой и сказал Христос людям: любите друг друга, несите тяжести друг друга, и так, в духовном единстве, вы все преодолете и сохраните в себе человека.

В отношениях братьев Бориса и Анатолия можно видеть действие именно христианского сознания, ставшего естественным повседневным чувством, о котором даже не нужно

напоминать себе и молитвой. Только с таким чувством, которое стало ментальным свойством твоего личного поведения, и можно было многолетно нести тяготы друг друга. Нести их было бы невозможно, все бы физические силы иссякли, а у больных людей их и без того мало, если бы подлинно братская любовь не согревала бы их сознания.

Мне и раньше хотелось сказать об этих удивительных взаимоотношениях братьев, да все не выпадало подходящего случая. Ведь если бы не было этого самопожертвования, этой братской заботы друг о друге, то трудно и представить, состоялся бы Шергин как писатель, были ли у нас его книги? — я в этом очень сомневаюсь. Но Бог дал ему брата Анатолия.

Даже если Анатолий Викторович по своей деликатности и не спрашивал, о чем пишет за столом у окна в своих тетрадках брат Борис и прячет их в фибровый старый чемодан, то он наверняка знал, что Борис Викторович пишет нечто важное, чего важнее в этой жизни не бывает.

Может быть, только благодаря подвигу житейского самопожертвования брата Анатолия, Дневниковые записи брата Бориса и стали воплощенным в слове путем духовного сопротивления безбожному веку. Этот путь они прошли вместе и одержали победу. Пусть их победа станет и нам примером.

Юрий Галкин